

---

## ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ, СИЛОЙ И КРИВДОЙ

**Александр Родионов. Князь-раб. ИД "Сова", Новосибирск, 2007.**

Нет, кажется, сегодня жанра популярнее, чем жизнеописание. Даже и в библиотеку можно не заглядывать, а зайти в один ближайший книжный магазин — тут они на тебя и навалятся. И не в привычной даже и для того и рождённой серии ЖЗЛ, а вольной ватагой, честолюбивой когортой, модным парадом. Роскошно изданные, соревновательно щегольские, аристократически строгие наполеоны и ганнибалы, клеопатры и царицы савские, талейраны и макиавелли, сталины и гитлеры. Казалось, после такого опыта осмысления мы проснёмся умным, осмотрительным и дальновидным народом, и мир, освобождённый от всех заблуждений, явит Богу образцы любви и мудрости. А послушаешь утреннюю сводку новостей — нет, что-то незаметно, чтобы история чему-то училась, заглядывая в лаборатории прошедшего.

Может быть, потому, что новым властителям некогда читать о властителях старых, а может быть, и потому, что книжные полководцы, императоры и гении — всё-таки только книжные, скроенные часто по мерке своих авторов, и больше проходят по области мифологии, чем по реальной жизни. Сами их рекламно дорогие обложки выдают "товар", порою оскорбляющий, а то и сводящий на нет тяжкий уединённый труд добросовестного автора, который (дита малое!) радуется броской красоте платья своей книги, не догадываясь, что читатель уже заранее спровоцирован на "торговое" чтение. А товар он и есть товар. Его так и принимают, вычитывая в интеллектуальных "святках" анекдот, занимательный сюжет, предмет для умной беседы, повод к удовлетворённому чувству равенства герою, а то и превосходства над ним.

Первым в родной истории падает Пётр Великий. Вот уж с кем поборолась русская литература, ужасаясь, восхищаясь, осмеивая, проклиная. Так он, "толпой любимцев окружённый", и идёт с пушкинской "Полтавы" с рифмой "ужасен-прекрасен", пока не оказывается окончательным антихристом для старообрядцев и великолепной гравюрой и "медным всадником" для официального знамени.

Но всё это "окончательно" только до нового поворота истории, а как у неё спина переломится, так опять надо оглядываться на Петровы дни, которые более всех сложили мятущийся, вольный и ломаный, терпеливый и неуступчивый русский характер — слишком во многих огнях и водах калил его Пётр. Сколько ни гляди, всё будет мало. Каждый новый документ и каждый новый поворот царствования откроют новую бездну.

Это замечательно подтвердил новый большой (едва поместившийся в два тома) роман Александра Родионова "Князь-раб". Родионов — писатель алтайский, сибирский, "в первом воплощении" геолог. Это и определило его интерес к петровской эпохе, к дням едва складывающейся Сибири, ещё не знающей границ, — подвижной, текучей, своей для китайцев, калмыков, джунгаров, русских. Вольной, "ничьей", неисчерпаемо-богатой.

Страстная борьба России за недра, за необходимые казне серебро и золото, за позарез нужные медные и железные руды, за новые рынки явлена в романе Родионова во всём размахе. Купеческие караваны, царские экспедиции, жестокое коварство мелких князей, лукавая восточная “дипломатия”, предательство и святость, всеобщее воровство и жажда познания. Всё как там, в Петербурге, в Европе, где хоть платье поопрятнее и парики покудрявее и дипломатия потоньше, но коли приглядеться (а писатель приглядывается), то и там ещё ни границ, ни пределов, и всё тоже ещё кипит и движется. И где честь-то хороша, да неприбыльна. Где Пётр гнёт своё, Англия своё, Швеция своё, да и мелкие княжества – своё, а возьмёт больше тот, кто смел и увёртлив, у кого побольше золота и пушек, кто злее и жёстче.

Но Пётр-то в романе хоть и повсеместен и хоть пронизывает всякую судьбу, и за всяким домом глядит, и хоть сам проживает тут часы полтавской славы и прутского поражения, Гангутской виктории и рассчитанного европейского унижения, хоть при нас пытается и убивает сына, а всё-таки и не вовсе главный герой. А главный-то Матвей Петрович Гагарин – тобольский губернатор, глава “всея Сибири”, знавший в книге дорогие часы вселилия, заносившийся выше небес, а кончивший на “глаголе”, на привычной осьмнадцатому веку виселице, когда “вспороли всеобщее оцепенение барабаны и палач набросил на голову князя мешок”. После страшных пыток, которые тут обсказаны во всех подробностях и про которые и читать страшно, а уж терпеть как – никакого воображения не хватит. А он вот – казнокрад, вор и честолобец – выдержал. И в основном, признания чего домогались и Пётр, и палачи (собирался ли князь отложиться от России?), так и под страшными пытками не признался. И потому что, в отличие от Петра, Рюрикович, о чём и кричит Петру с дыбы в лицо, и потому, что, как мы уже сами догадываемся, несмотря на все обвинения, действительно не хотел отложиться. Ибо русский во всём. И гордостью русской и строил Сибирь.

В этом чудо и победа Родионова, что он всё огромное население книги писал во всей русской широте, которая даже и Достоевского смущала, так что он хотел “сузить” русского человека. А Родионов вот не сужает – уж какой есть, такой есть!.. И украдёт, и покается, и во все тяжкие пустится, а завтра последнее отдаст. И сжульничает, пока лихо не придёт, а в страшный час встанет свято и победит.

Наверное, это вышло так убедительно оттого, что автор побыл и царём, и ханом, князем и нищим, рудознатцем и архиереем. Целое человечество переносил в себе за десять лет, пока писал книгу. И не сочинённых людей, а вполне реальных – Петра и Карла, Гагарина и Демидова, Шафирова и Меньшикова, всех купцов и воевод каждого со своим именем, таможенников и оружейников, плотников и палачей, кто строил Русь и Сибирь правдой, а больше кривдой. Люди они всякие, и “всячину” эту, чтобы быть убедительным, надо было в себе поискать и под сердцем поносить. А уж те десять лет, которые мы прожили, пока он книгу писал и тоже ведь не в чужой земле жил, а с нами невесёлые эти годы делил, по оттенкам высоты и низости иному столетию под стать.

Да и документов Родионов за эти годы столько и таких прочитал, что не мудрено было узнать, как просторен русский человек, особенно в сибирской воле и дали. Да и время-то какое пишет! Жизнь каждый день в обнимку со смертью ходит. Гибель глядит с хозяйской ухваткой, кого как прибрать: не стрела вражья возьмёт, так тяжесть походов, не голод, так плен. И ты сам в чтении никак не можешь чьей-то стороны взять, потому что все они живые.

Только раздосадуешься на Гагарина, на то, как он губит поход государева посланника Бухольца в чужие земли и сам же потом за гибель людей с него фарисейски спрашивает, как вместе с князем и вздрогнешь, когда он, видя горе матери, потерявшей в том обречённом походе детей, вдруг на минуту всю боль на себя и свою матушку примерит и, впервые понимая всю пропасть беды, раненым сердцем закричит: “раньше матери не умирай!” И ты, уже привыкший к смертям в романе, тоже внезапно и остро материнскими и отцовскими глазами увидишь, как прирастала Сибирь, какой ценой давалась она России. И поймёшь князя, который вор-то вор, а каждую судьбу своих людей будто в руках подержал и сам в себе рос и жил Сибирью. И как же это взять и отложиться? Пётр-то в заботе о казне, может, и право казнил князя и помощников его, да мы уже его правоты не разделим, потому что видим, что

они при всех страшных грехах своих вон какое дело сделали и вон какую страну нам оставили. Суди их теперь, коли они уже там, в царствии небесном, грехи свои исповедали и во искупление Господу к ногам Сибирь положили. Это нынешние политики могут легко поигрывать мыслью об отложении Сибири, потому что некому их за это в петровский приказ взять да и спросить: чьей это волей они играют?

Иногда при чтении и устаёшь. От сотен героев, из которых всяк со своей судьбой и всяк внимания требует. А удержи-ка их в памяти. Кажется, ни один человек от автора не укрылся — ни пеший, ни конный, ни князь, ни раб. Но потом догадаешься, что автору уж и не до читателя, не до тонкостей нашего восприятия. Ему бы поплотнее воскресить молодые дни империи и тем снова собрать Сибирь и никого не забыть в “поминании”. Оттого и норовит он оживить всякое дело, так что мы с ним и повоюем, и руду поищем, и поторгуюм, и потянем с купцов копеечку в таможнях, и всякую работу сделаем, которую Родионов пишет так, что, не поделав её своими руками, не напишешь.

Книга выходит рабочая, трудно повседневная. Без этих наших нынешних “олеографий” на месте истории, где один так и норовит в помойное ведро всё столкнуть, а другой из того же материала икону сочинить. Читаешь, как живёшь, — долго и трудно. И радуешься чтению как хорошей работе. Привыкшие к тому, что авторы обычно суетятся, пытаясь занять нас, в глаза заглядывают, чтобы мы не заскучили, мы вначале смущены этой независимостью Родионова. Но зато, вчитываясь, благодарим за эту полноту Божьего мира, за яркую плоть отошедшего мира, которого мы дети, хоть уже и забывчивые дети.

Ему вот и начинать книгу приходится со “Словаря”, потому что мы уже половину родных языковых сокровищ растеряли. Родионов возвращает в романе ушедший плотный сильный живой русский язык, и мы ещё вольны омолодить родную речь старой сибирской крепью. Так и видишь, как радуется слух автора, перебирая чудеса присказок и поговорок, не умея наслушаться, как складно говорит русский человек, который складностью этой таинственно облегчает себе жизнь: “не гляди ребром, гляди россыпью”, “спрятать рожу под рогожу”, “как бы ни шло, лишь бы ехало”, “нажил махом, ушло прахом”. Нарочно он речь не пестрит, а там слово былое прибавит, в другом месте — глядишь, речь и расцвела, как при воспоминании о Сибири уже заточенного в Петропавловке князя: “Эх, трубач милай! Сколь ни вышивай ты здесь своей трубой серебряную строчку в сером воздухе, всё одно похитит её эта хлябь чухонская. Протопаёт какая-нибудь рота по снегу и растопчет твоё глухое влажное звучанье. Кабы тебе играть зарю, и полдень, и вечер над Иртышом с Троицкой горы, вживляя песню свою в шитое сизым красноталом бело заречье, там тебе, песне твоей трубной, каждый стебелёк встречу качнётся!”

Долгая вышла книга, как крепкая жизнь сибирского губернатора. Оглянешься в конце, вспомнишь, как выходил в дорогу чтения, и будто уж то начало в другой жизни было — так ты успел втянуться в мерное и немеряное сибирское время, так сошёлся с человеческой семьёй героев, так почувствовал сердцем глубину и крепость мира. Будто и сам прошёл всеми реками и прикипел к ним. Будто с небес милую землю взглядом окинул и, как впервые, понял — твоя она, тобой выстрадаана и нажита.

Увидишь это любящим сердцем и всё и простишь широким и уже неподсудным нам царю Петру, за волосы тащившему Россию, куда не хочет, и Матвею Петровичу Гагарину, князю и рабу Сибири. Как и сам Пётр — царь и раб России. Умный художник книги (Далецкая Ю. А.) будто перевернул слова в названии, поставив в первом томе красным цветом слово “князь”, а во втором — “раб”. Будто в первом в багряницу власти князя одел, а во втором кровью опалил. Слитны они оказались в петровской истории: власть и кровь — не разорвать. Слитны и в молодой русской судьбе.

Дал бы нам Бог помнить это в ослабленное наше время. И дал бы Бог слышать нерасторжимость и в общей жизни империи, и в каждом сердце раба и князя, которые только вместе — целый человек в целой истории. А порознь — одно “гражданское общество”.

**Валентин Курбатов,**  
Псков